

Александр Валентинович Амфитеатров

После лондонского конгресса



Александр Валентинович Амфитеатров

После лондонского конгресса

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22104641

Аннотация

«Лондонский конгресс для изыскания мер борьбы против торговли белыми невольницами торжественно провалился. Впрочем, даже и не торжественно. Он просто «не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней». Спрятался куда-то – в самый петитный уголок газет – и измер в нем тихую смертью. Похоронили его по шестому разряду и почти без некрологов. Конгресс оказался покойником зауряд, каких отпущено по двенадцати на дюжину...»

Александр Амфитеатров

После лондонского конгресса

Лондонский конгресс для изыскания мер борьбы против торговли белыми невольницами торжественно провалился. Впрочем, даже и не торжественно. Он просто «не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней». Спрятался куда-то – в самый петитный уголок газет – и измер в нем тихую смерть. Похоронили его по шестому разряду и почти без некрологов. Конгресс оказался покойником зауряд, каких отпущено по двенадцати на дюжину: ни в чем ни в дурном, ни в хорошем не замечен; ни в кампаниях не участвовал, ни под судом и следствием не состоял; ни орденовыми знаками отличаем не был, ни выговоров и взысканий по службе не получал. Просто – потоптался на земле, покоптил небо и исчез. И так незаметно исчез, что даже и следов по себе не оставил. И, когда человечество, устами газет, спохватилось:

– Позвольте! куда же, однако, девался конгресс?

Многие, с изумлением, широко открывали глаза и возражали:

– А разве был конгресс?

А между тем от конгресса многого ждали, и, по идее, он стоил, чтобы ждали. Нет государства сколько-нибудь куль-

турного, нет христианской страны, где вопрос о продаже женщин с целями разврата не стоял бы на очереди, как потребность насущно необходимая, как язва общественного строя, вопиющая о немедленном излечении. И нет государства, нет христианской страны, где бы хоть кто-нибудь, кроме завзятых идеалистов, сентиментальных Эрастов Чертополоховых, аркадских пастушков социологии, искренно верил в возможность подобного излечения. Борьба с проституцией – одно из тех хороших слов, которые надо время от времени провозглашать во всеуслышание, дабы не «засохла нива жизни», но от которых – по пословице русской – «не станется». Этим знаменем, красиво веющим по ветру, много и часто машут, призывая к бою, но никто почти за ним не идет в бой, и никто не бывает за него убит, ни даже ранен. Если проследить историю общественных мер против пороков и бедствий, мы – опять-таки всегда и повсеместно – увидим, что меры против проституции, из всех других, самые неуверенные, изменчивые, колеблющиеся, неудачные. Это меры одинаково бесплодные и в крайней суровости, и в снисходительном попущении. Где существует последнее, с невероятною быстротой развивается проституция открытая; где применяется первая, с еще вяжшею быстротой растут проституция тайная и домашний разврат. Проституция – наследие первородного греха, неразрывного с самою природою человеческою. Борьба с проституцией – христианский завет, – почти исключительно христианский, что и понятно.

Лишь общества, признающие половое чувство греховным и губительным для человечества, полагающие борьбу с грехом этим необходимою опорю нравственности, а возможность полной победы над ним ставящие краеугольным камнем своих религиозных упований, – лишь такие общества могли исторически преследовать и, действительно, преследовали проституцию. Общества, не озаренные светом возвышенных духовных начал, с нею мирились, ей даже покровительствовали, а, в лучшем исходе, если и искореняли ее в своей среде, то – путем компромисса, вряд ли более нравственного, чем самая проституция: чрез дозволенное и узаконенное многоженство или наложничество. Чем более владеет обществом религия тела, тем больше власти и мощи имеет над теми обществом и веком проституция. Чем сильнее развивается в нем религия духа, тем меньше терпимости к проституции, тем ярче ей противодействие. То общество, которое, действительно, победит первородный грех, – конечно, освободится и от проституции. Мыслимо ли такое общество, побеждающее царство вавилонской блудницы и зверя не только в мечтательном идеале возвышенных и вдохновенных умов, но и в житейской наглядности? Не знаю. В прошлом его не было, нет его и сейчас.

Провозгласив целомудрие высшим нравственным идеалом, христианство воюет с проституцией девятнадцать веков, но все еще далеко до победы. Более того: чем дольше и упорнее война, тем она становится сомнительнее и даже

порою представляется безнадежною. Чем чаще и громче заявляет о себе потребность упразднить проституцию, тем яснее и наглее подчеркивает эта последняя свою полнейшую неистребимость. Это – Лернейская гидра. Когда ей отрубают одну голову, у неё немедленно вырастают две новые, гораздо опаснейшие прежней. Говорят, что один в поле не воин. Между тем, в войне против проституции, у современного общества – именно лишь один, истинно могучий меч: нравственный идеал, вещаемый евангельским словом. За проституцию же подняты десятки оружий, не только явных, но и потаенных, не смеющих часто не только назвать себя, но даже подать голос о существовании своем, и все же существующих и вредно действующих; десятки пороков, низменных и презренных, но тесно родственных натуре человеческой, – тем животным проявлениям её, что привились нам вместе с ядом яблока Евы.

Итак, победит проституцию лишь то чистое, духовное христианство, – если возможно оно, – которое окончательно сбросит с себя путы животного начала и утонет в созерцании неизреченной красоты Вечного Идеала. Такое ликующее, светоносное, безгреховное царство обещано в апокалипсическом Новом Иерусалиме. О нем, как новом золотом веке на земле, мечтали и молились таа называемые хилиасты. Но мечты и обетования – загадки будущего. В прошлом же и в настоящем чистые евангельские формы христианства оказались достоянием лишь весьма немногих избран-

ных, «могущих вместить», – настолько немногих, что к общей массе именующих себя христианами они относятся, как единицы к десяткам тысяч. Масса – глядя по вере, по веку и по настроению эпохи – признает единицы эти или святыми, или безумцами, и либо поклоняется им, либо учиняет на них гонения.

Христианская теория и в наши дни царствует над миром. Но царство её не автократическое, но конституционное. Она царствует, но не управляет. Ей присягают, ею клянутся, к ней, как высшей справедливости, летит последняя апелляция человека, осужденного жизнью на горе и гибель, – но живут, хотя её именем, не по её естественному закону, а по закону искусственному, выработанному компромиссами христианского идеала с греховными запросами жизни. Как практическая религия, христианство – после первых апостольских дней своих – являлось в многочисленных по наименованиям, по всегда крайне тесных и немногочисленных по количеству приверженцев, общинах, которые, живя во завете Христову, свято и целомудренно, превращали весь быт свой как бы в монастырь труда и нравственного самоохранения. В таких обществах, посвященных всецело «блюдению себя», разумеется, и проституция становилась невозможной. Но общины эти или были первобытными по самому происхождению своему, как, напр., первоначальная церковь рыбаков-апостолов, или же, возникая протестом против современной им культуры, отрывали от неё и возвращали про-

зелитов своих к первобытности, как, напр., делают это наши толстовцы. С численным ростом общины, с расширением её границ, растут и её потребности житейские, утягивая ее все далее и далее от того первобытного строя, которым обуславливалась в ней чистота и практическая применимость веры. Становятся неизбежными компромиссы и отклонения от великой теории, – и мало-помалу, в молчаливом взаимосоглашении чуть не поголовного самообмана, практика жизни начинает слагаться именно из отклонений этих и уменья узаконить их, чрез искусное толкование нарушенной морали, к своим выгодам и удобствам. Прививка государственности превращает общую «религию» в местные «вероисповедания»; рост внешней культуры разлагает вероисповедные законодательства каждым шагом своим, настойчиво заставляя поступать в пользу свою сурово-требовательный мир духовный, заслоняя светоч вечного идеала временным, но ярким «сиянием вещества». Культ тела, номинально уступая почтительное первенство культу духа; оттесняет его фактически на задний план; в маске показного христианства, жизнь совершает попятную эволюцию к укладу языческому. А языческий уклад был не врагом, но другом и сыном первородного греха; он не чуждался разврата, но строил ему храмы, воздвигал кумиры, апофеозируя в них тех именно проституток, то именно женское продажное рабство, против коего выступил неудачный лондонский конгресс. «Наделала синица славы, а моря не зажгла». Увы! Чистое дело требует, чтобы за него бра-

лись чистыми руками. Не веку, который стреляет в дикарей пулями «дум-дум», раскапывает могилы, чтобы осквернить прах мертвого врага, изобретает подводные лодки, наверняка пускающие ко дну любой броненосец с тысячами людей на нем, швыряет динамитные бомбы и мечтает об изобретении бомб миазматических, способных отравлять всякими заразами атмосферу чуть не целого государства, – не этому веку, так усердно причиняющему смерть и так боящемуся смерти, сражаться с развратом – её детищем, спутником и сотрудником.

Лондонский конгресс провалился потому, что, при всей симпатичности заявленных им целей, был втайне плодом общественной неискренности. Может ли нападать на проституцию тот социальный строй, которого она – прямой и необходимый результат? Конечно, нет, – он может лишь делать вид, будто нападает. А если нет, может ли он серьезно и убежденно стремиться к уничтожению страшного рынка, на котором обращается этот грустный товар? Конечно, нет, – он может лишь делать вид, будто стремится. Ему нужен этот товар, и он будет иметь его; товару нужен рынок, и он – несмотря на все обилие честных и хороших слов против его существования – будет существовать. Быть может, немножко облагородится, временно наденет вуаль, но – будет! Доколе? До тех пор, пока новая нравственная реформа не освежит нашу культуру, начинающую принимать столь разительно схожие формы с культурой умершего Рима – до тех пор, по-

ка реформа эта не возвысит женщину над её современным социальным уровнем, не укажет её права на «душу живую», не даст ей в обиходе нашем места иного, тем, – говоря языком политико-экономическим, – «предмет первой необходимости». Покуда женщина остается в одном разряде с вином, хлебом, солью, мясом, кофе, чаем и тому подобными вещественными потребностями человечества, – до тех пор и проституция, и рабские рынки проституции незыблемы. Ибо человек – животное эгоистическое. Привыкнув пить кофе, он заботится о том, чтобы хорош был кофе, свеж и вкусен, а вовсе не о том, чтобы хозяева кофейных плантаций не совершали несправедливостей над своими рабочими и были бы люди высоконравственные. И – если у негодя-булочника окажется хлеб лучшего качества, чем у булочника богобоязненного и добропорядочного, последний, вопреки всем своим хорошим достоинствам, может закрывать лавочку: он банкрот.

– Но ведь это же парадоксы! – возразит мне читатель-оптимист, – софизмы Бог знает какой давности... Женщина – вещь, женщина – кусок мяса, о которой вы говорите, осталась далеко за нами – во мраке теремов, гаремов, гинекеев. Мы возвысили семейное положение женщины. Мы создали вопрос о женском труде, выдвинули вперед стремление к женской равноправности...

Возвысили семейное положение женщины? Но она до сих пор жена мужа своего фактически – лишь до тех пор, по-

ка он того хочет, и мать – воспитательница детей своих – опять-таки, покуда только супругу угодно. Вы имеете право любить, разлюбить, расстаться с женою, наградив ее отдельным паспортом и тем или другим денежным содержанием, можете оставить у неё детей, отнять их, можете вытребовать ее к себе по этапу, – она бессильна ответить вам подобною же мерою; она не властна даже в личном обязательственном и имущественном своем праве, и, чтобы вексель жены хоть что-нибудь стоил, его должен украшать супружеский бланк. Это – раз. А затем: чего стоит это мнимое возвышение женщины в семье, при общественном курсе, делающем, с каждым годом, все более и более затруднительным возникновение, поддержку и правильное существование семьи? Мы слышим всеобщий вопль: «жить нечем»! Видим, как недостаток средств разлагает семью за семьею, как быстро растет в брачной статистике процент старых дев, не нашедших себе женихов, и холостяков, уклоняющихся от брака, по-осторожному принцпау – «одна голова не бедна, а ж бедна, так одна»! Целые тысячи браков, отказавшихся от деторождения или практикующих пресловутую *Zweikindersystem*. Тысяча матерей, заливающихся слезами при появлении «лишней и не входившей в расчет» беременности, предпочитающих перспективе в муках родов и в недостатке и нужде растить чадо – абортивные услуги разных секретных акушерок и шарлатанов-докторишек... В обществе, где женщина вынуждена отказаться от деторождения, где правитель-

ства тщетно изобретают меры, чтобы воспитательные дома, предназначенные для незаконнорожденных, не заваливались детьми законнорожденными, – не хвалитесь семейным возвышением женщины.

Вы лишили своих жен материнского их предназначения, а если жена – не мать, то она – по условиям мужевладычного строя – только либо предмет вашего удовольствия, либо служанка, трудящаяся на вас по домашней части. Вы не бьете ее, как били ваши предки, – да ведь и язычник-римлянин жены своей не бил и обращался с нею изысканно вежливо, в то же время не считая, однако, ее за полного человека. Быть может, она даже властвует над вами, но властвует не силою нравственного права «матери семейства», а по тому же закону, по которому вас подчиняет себе излюбленная прихоть, пришедшая по вкусу игрушка. В обществах, где семейные права женщины стоят высоко, был бы немислим тот настойчивый вопль о свободе развода, что гулом идет по всем государствам Европы и громче всего едва-ли не у нас в России, то тяготение к гражданскому браку, что замечается положительно во всех слоях, слагающих современную жизнь. Мужчины исписали сотни томов в улику жен, бросающих мужей своих, как перчатки, жен – бессердечных разорительниц, кокоток семейного очага. Есть такие, множество их, и правильно их описывают. Но, правильно описывая, забывают ту истину, что не растет пшеница на незасеянном поле... Мы вытеснили из обихода нашего жену-мать, – так нечего и пла-

каться, что семейные поля покрываются волчцами и терниями, пламя домашнего очага гаснет, и, во мраке и холоде бездетных и малодетных супружеств, беснуется от безделья жена-кокотка, которая не заправская кокотка потому только, что – подходящего случая покуда не выпало. А выпадет случай, – и станет, ничто же сумняшеся и никого не жалея.

Мы создали вопрос о женском труде и женской равноправности? Но опять – не условная ли это ложь? Не вопрос ли это, поставленный в пространстве, даже без особых стараний об ответе? Увы! Если бы имелся хоть намек на последний, исчезла бы сама собою и добрая половина вопроса о проституции. Не думайте, что я стану говорить жалкие слова и рисовать избитые сентиментальные картины, как бедная, но честная девушка тщетно искала работы, чуть не умерла с голоду, чуть не утопилась от безработицы и желания остаться бедною, но честною, и как, все-таки, жажда жизни взяла свое и бросила ее в гнусное лоно порока. Все это бывает, все это очень жалостно, но дело-то не в том. Это – исключения, это – аристократия падших, это – орнамент порока, а суть-то – в общей их массе и заманчивом общем правиле, ею властно руководящем. Властность же и заманчивость этого правила заключаются в том, что в нашем высококультурном обществе ни один из видов честного труда, доступных женщине, не дает такого щедрого, быстрого и легкого заработка, как злейший враг женского труда – разврат. Награждая женщину самостоятельным трудом, мы говорим ей чрезвычайно

много красивых слов о сладости честно заработанного куска, затем любезно предлагаем:

– И вот вам, душенька, прелестная каторга: за 15 рублей в месяц вы будете работать ровно 15 часов в сутки... Сколько счастья!

Всюду, пока, женский труд – отброс мужского, черная, кропотливая и мучительно скучная работа, которой мы, мужчины, не берем по лени, высокомерию и потому, что есть возможность свалить ее на женские плечи, за гроши, какие мужчине получать «даже непристойно». Это – везде: в банках, в папиросных мастерских, в библиотеках, в магазинах, на фабриках, на телеграфе, на полевой уборке – всюду, от малого до большего, где труд мужской мешается с трудом женским.

Требуется с женщины много, платится мало. Диво ли, что соблазн более сладкой и сытой жизни отбивает ее от труда и бросает в разряд «продажной красы»? О предпочтении первого второй можно говорить справедливые и хорошие слова с утра до ночи. Но у справедливых и хороших слов есть один огромный недостаток: как голос долга, они все требуют от человека подвижничества во имя идеи. Подвижничество же массам не свойственно, но лишь единицам из масс. Очень хорошо быть Виргинией, но, если бы Виргинии встречались по двенадцати на дюжину, их не заносили бы на скрижали истории, как поучительную редкость. И – когда девочке лет 17–18 предоставляется выбор между пятнадцатича-

совую ежесуточную каторгою и падением, она обычно предпочитает грех и сытую жизнь честному труду на житейской каторге. Одной Виргинией в списках житейских становится меньше, одной Катюшей Масловой – больше. Эти бедные Катюши Масловы гибнут, как мотыльки на свече – сотнями, тысячами, тупо принимая свою гибель, как нечто роковое, неотменное. Чтобы мотылек не летел на свечу, надо поставить между ним и ею надежный экран... Такой экран, говорят нам, есть женский труд, полноправный с трудом мужчины. Прекрасно. Но сделайте же труд этот и равноценным труду мужчины, потому что иначе – экран дырявый, не заслоняет свечи. Если вы хотите, чтобы женский труд парализовал проституцию, сделайте его хоть сколько-нибудь способным не теряться в соседстве с нею своим бессильным заработком в совершеннейший мизер; а жизнь честной работницы сделайте сытее и, следовательно, завиднее мишурной обстановки – «убогой роскоши наряда», достающейся в удел продажным женщинам. Если общество в состоянии достигнуть такого блага, проституция погибнет сама собою; если нет, – то благожелательные и красноречивые конгрессы против неё – не более, как то самое бросание камешков в воду, при коем Кузьма Прутков рекомендовал наблюдать круги, ими образуемые, «ибо иначе иной, пожалуй, назовет такое занятие пустою забавою»!